

Н. УЛЬЯНОВ

СВИТОК

Сборник рассказов

Нью-Хэвен

1972

ШЕВЧЕНКО ЛЕГЕНДАРНЫЙ

Русское литературоведение могло бы проявить к нему больше интереса, чем это наблюдалось до сих пор. Наполовину, если не больше, он принадлежит русской словесности, как потому, что вся его проза и «Дневник», а также несколько поэм написаны по-русски, так и потому, что русская литература, вместе с польской, была для него школой. Он, наконец, допускал возможность двух языков для украинской письменности; один из них — русский. Тесно связан он был с Россией и мотивами творчества. Даже в своем национализме опережен Рылеевым, имеющим полное право считаться основоположником самостийнической поэзии. От декабристов, от петербургской и московской журналистики тридцатых-сроковых годов идет его революционная нота. Не случайно, у радикальной интеллигенции великорусских областей, он был более популярен, чем на Украине. И недаром, в числе первых памятников, воздвигнутых большевиками после их прихода к власти, был памятник ему на Каменноостровском проспекте. Позднее, в Харькове и над Днепром появились гигантские монументы, с которыми вряд ли сможет тягаться проектируемый ныне памятник в Вашингтоне, по случаю столетия со дня его смерти. Величина их уступает разве что величине статуи Сталина. Ни в России, ни за границей, ни один поэт не удостоился такогоувековечения

памяти; их крошечные фигурки и бюстики — сущие щенки, рядом с бронзой автора «Заповита». Сервантес в Мадриде будет ему по колено, а Гете и Шиллер во Франкфурте — немногим выше.

Столь же монументальна легенда, окружающая имя Тараса Григорьевича: «украинский Шекспир», «пророк», «великий поэт». Костомаров объявил его «народным» («народ, как бы избрал его петь вместо себя»), а Кулиш назвал «первым историком» Украины. Натоящий же апофеоз начался при советской власти: «Великий украинский поэт, революционер и мыслитель, идейный соратник русских революционных демократов, основоположник революционно-демократического направления в истории украинской общественной мысли», — такова официальная его аттестация в советских словарях и энциклопедиях. В эмиграции украинская церковь причислила его, как бы к лицу святых, установив церковный праздник в день его рождения. Когда государство или «общественность» облачают кого-либо в тогу, они с головой укутывают избранника, так что истинной фигуры его не видно, — одна хламида. И все же, редко бывает такая разница между легендой и подлинным обликом поэта, как в случае с Тарасом Шевченко.

Откуда, например, пошла слава о нем, как о «певце крепостного народа»? Читая «Кобзарь», тщетно ломаешь голову над этим. Есть там, конечно, десятка полтора-два строк о тяжелой доле крестьянина, но они и в отдаленной степени не напоминают Некрасова. Ничего похожего на «Забытую деревню», либо на «Размышления у парадного подъезда». Слово «панцина» встречается каких-нибудь три четыре раза, а барина-угнетателя вовсе не видно. Шевченковская деревня выглядит не крепостной, люди там страдают не от помещиков и чиновников, а от несчастной любви, от злобы, зависти, от общечеловеческих пороков и бедствий. Тарасу Григорьевичу суждено было дожить до освобожде-

ния крестьян. Добрых три-четыре года вся Россия только и говорила об этом освобождении; старые друзья Шевченко, кирилломефодиевцы ликовали; один он, бывший «крипак» не оставил нам ни в стихах, ни в прозе выражения радости. Крепостной крестьянин никогда не был героем его произведений.

Столь же мало народен он в этнографическом смысле. Давно замечено, что подобно тому, как в живописи ему не удалось преодолеть брюлловского классицизма, так в стихосложении всю жизнь оставался учеником польских и русских своих современников — Мицкевича, Рылеева, Жуковского. Народной поэзии, по всем признакам, он не знал, познакомился с нею сравнительно поздно, из вторых рук, через П. А. Кулиша, да и то это были кобзарские думы, среди которых уже в XVIII веке насчитывалось чуть ли не половина поддельных. Поэзия его была интеллигентской. Драгоманов под конец жизни признавался, что все опыты чтения шевченковских стихов мужикам, кончались провалом, мужики оставались холодны. Псевдонародный характер его поэзии отмечен был Белинским. «Если господа кобзари думают своими поэмами принести пользу низшему классу своих соотечественников, то в этом они очень ошибаются; их поэмы, несмотря на обилие самых вульгарных и площадных слов и выражений, лишены простоты вымысла и рассказа, наполнены вычурями и замашками, свойственными всем плохим поэтам, часто, нисколько не народны, хотя и подкрепляются ссылками на историю, песни и предания. Следовательно, по всем этим признакам — они непонятны простому народу и не имеют ничего с ним симпатизирующего». Слова Белинского, лет через сорок, повторил Драгоманов. Он тоже полагал, что «Кобзарь» «не может стать книгою ни вполне народною, ни такой, которая бы вполне служила проповеди 'новой правды' среди народа».

Давно, также высказано сомнение и в его хождении в народ, в пропаганду на Подоле, в Кирилловке и под

Каневом, о чём так много пишут в советской России. Свидетельств такой его деятельности не сохранилось. Быть может, кабацкие речи о Божией Матери послужили поводом для этой легенды. Зато сохранились сведения о подвигах отнюдь не революционного характера, вроде того, что описаны его двоюродным братом Варфоломеем Шевченко, когда подвыпивший поэт учинил экзекуцию над шинкарем: «Чого дивитеся хлопци? Простягнить жида та висичить!» Говорить об «идейном соратнике русских революционных демократов» еще труднее. Ни с кем из них он, прежде всего, не был знаком, если не считать петрашевца Момбелли, виденного им как-то на квартире у Гребенки. Да и что представляли собой «революционные демократы» того времени? Мечтатели, утописты, последователи Фурье и Сен Симона, либо только что народившиеся поборники общинного социализма. Найдите в литературном наследии Шевченко хоть какой-нибудь след этих идей. Даже причастность его к Кирилло-Мефодиевскому Братству, послужившая причиной ареста и ссылки, была более случайной, чем причастность Достоевского к кружку Петрашевцев. Влияние на него Костомарова, Гулака, Кулиша, не шло в сравнение с влиянием Переяславских и новгород-северских помещиков, у которых он жил месяцами, переезжая от одного к другому. Из всей кирилло-мефодиевской идеологии у него можно заметить лишь мотив всеславянского единства, «щоб уси славяне стали добрыми братами». То была дань внешнего уважения, возникшему в Праге научному славяноведению, о котором он наслышался от Кулиша и Костомарова.

Что же до подлинно всеславянских чувств, то о них можно судить по бесчисленным злобным выпадам против самых близких славянских народов — поляков и русских. Трудно сказать, который из них он ненавидел больше. Из поляков почитал одного Мицкевича и, по словам Афанасьева-Чужбинского, пытался даже пере-

водить его стихи, но при малейшей неудаче разрывал рукопись в клочки: «Мабудь сама доля не хоче, щоб я перекладав лядские писни». К москалям же до самой могилы пылал неугасимой ненавистью.

Под влиянием русской радикальной интеллигенции издавна утвердился взгляд, ставший официальным в советские времена: Шевченко — борец против царизма, крепостного права, барства и чиновничества, но отнюдь не против России и русского народа. Если у него, мол, и вырывается неласковое словцо о москалях, то не следует принимать его к сердцу; это, де, выражение все той же неприязни к официальной России. Встречается такая точка зрения и в эмиграции. Недавно господин Е. Яконовский пытался уверить нас, будто Шевченко далек от ненависти к кому бы то ни было, кроме «поработителей», «в которых он все больше и больше видел не русских, не москалей, а панов, которых жег в Умани Гонта». По словам господина Яконовского, он, после пребывания в линейных батальонах, «как будто понял, почувствовал единство русского народа», «и нашел у него горести, те же надежды, то же долготерпение, тот же крестьянский язык, как на своей обожаемой Украине». Очень это идиллично и прекраснодушно, но хотелось бы знать, откуда взято. Ни стихи, ни дневник Шевченко не дают основания для таких заключений. В свое время, М. П. Драгоманов, украинский националист и революционер, возмутился как раз тем, что Тарас Григорьевич, «живучи среди москалей, солдатиков, таких же мужиков, таких же невольников, как сам он, — не дал нам ни одной картины доброго сердца этого 'москаля', какие мы видим у других ссыльных... Москаль для него и в 1860 году — только 'пройдисвит', как в 1840 году был только 'чужой человек'». Костомаров, уверявший в свое время, будто чувства Шевченко никогда не были осквернены «узкою, грубою неприязнью к великорусской народности», выступал против очевид-

ногого факта. Нет числа выражениям его злобы к москалям. И абсолютно невозможно истолковать ее, как ненависть к одной, только правящей России. Нет, весь русский народ ему ненавистен. Даже в чисто любовных сюжетах, где украинская девушка страдает, будучи обманута, — обманщиком всегда выступает москаль — синоним неприятеля, лихого человека, ищущего, как бы поживиться на счет украинца. В 1858 году, возмущаясь Иваном Аксаковым, забывшим упомянуть украинцев в числе славянских народов, он не находит другого выражения, кроме: «мы же им такие близкие родичи: как наш батько горел, то их батько руки грел». Даже археологические раскопки на юге России представлялись ему грабежом Украины, поисками казацких кладов.

Могилы вже розривають
Та грошей шукають.

Но вот, знаменитый «Заповит», столетие со дня написания которого было отпраздновано в 1945 году всей самостийнической общественностью, как величайшая веха в развитии национальной идеи. Там говорится о «вражой злой крови», которую когда-то «понесе з Украины у синее море». Нет до сих пор единодушия насчет того — чья она. Одни, в согласии с русской революционной версией, говорят о крови дворян, помещиков, классовых угнетателей простого люда, для других, это кровь москалей, «национальных поработителей Украины». Сами москали до сих пор не могут поверить, будто их тверской, рязанской и калужской кровью хочет поэт «вольность окропити». Тем не менее, вряд ли можно сомневаться, что стихи эти были прямым следствием дружеских связей их автора с переславским и новгород-северскими националистами, у которых он в то время гостил, покинув скучную академическую сре-

ду кирилло-мефодиевцев в Киеве. Об этом свидетельствует время и место написания «Заповита» — Переяславль, 1845 год.

Драгоманов, сам смолоду воспитанный на поэзии Шевченко, не мог ему простить ни этой русофобии, ни поленофобии. «Пока национальные поэты только так будут говорить про своих соседей, — писал он, — то трудно будет осуществиться желанию, «щоб уси славяне стали добрыми братами».

«Украинский Герцен», как некоторые называют Драгоманова, очень скептически относился к революционности Шевченко и, вряд ли бы согласился видеть в нем «основоположника» какого бы то ни было направления в истории общественной мысли.

Он полагал, что с «мыслью»-то, как раз и обстояло плохо у Тараса Григорьевича, по причине полного отсутствия образования. Из Академии художеств он вынес лишь поверхностное знакомство с античной мифологией, необходимой для живописца, да с некоторыми знаменитыми эпизодами из римской истории. Знаниями систематическими не обладал, никакого цельного взгляда на жизнь не выработал, не стремился даже, как это бывает со многими выходцами из простого народа, восполнить отсутствие школы самообразованием. «Читать он, кажется, никогда не читал при мне, — пишет близко его знавший скульптор Микешин, — книг, как и вообще ничего не собирал. Валялись у него на полу и по столу растерзанные книжки 'Современника', да Мицкевича на польском языке». Многих авторов, которых он воспевал в стихах, как то Шафарика и Ганку — в руках не держал. «Российскую общую историю, — знал, очень поверхностно, общих выводов из нее делать не мог, многие ясные и общеизвестные факты или отрицал, или не желал принимать во внимание

ние; этим и оберегалась его исключительность и непосредственность отношений ко всему малорусскому». Главный способ приобретения знаний заключался в прислушивании к тому, что говорили в гостиных более сведущие люди. Подхватывая их речи, поэт «мочав соби на уса, та перероблював соби своим умом».

Невежеством и недостатком умственного кругозора объясняет Драгоманов и тот факт, что большой, подлинно бунтарский, темперамент Шевченко не нашел достойного выхода, разменявших либо на выражение беспредметной злобы, либо на архаические примитивные выпады против «царей». Браня их за пиры, за расточительность, за падкость до чужих жен, Шевченко, по мнению Драгоманова, так и не поднялся до борьбы со всей системой самодержавия. Антимонархизма в его стихах не больше, чем в речах библейских пророков, бичевавших своих патриархальных царей.

Восплач пророче сыне Божий
И о князьях и о вельможах
И о царях отих и рци:
На що та сука ваша мати
Зо львами клещиласъ щенята?
И добувала вас лихих
И множила ваш род проклятый?

Но если бунтарство и гайдамацко-пугачевские замашки не пользовались особым кредитом у Драгоманова — на редкость образованного и уравновешенного человека, требовавшего во всем разума, логики, программы (П. Б. Струве называл его «подлинно научным социалистом»), — то они находили сочувственный отклик у русской революционной интеллигенции XIX века. Та слышала в шевченковской поэзии якобинскую ноту поэтов-декабристов, вроде Рылеева и Бестужева. Всякие призывы к «сокире» (топору), к разрыванию «кай-

данов» (цепей), к пролитию «вражой злой крови», оказывало чарующее действие на подпольную Россию.

Гораздо разборчивее подошли к Тарасу Григорьевичу в Галиции. В наши дни, нет более неумеренных его превознесений, чем те, что исходят от галицийских самостийников, но лет восемьдесят пять назад, он у них едва не подвергся запрету. Это было в 1876—1877 годах, когда там появилось пражское издание «Кобзаря». До тех пор «народовцы» благосклонно слушали речи о «святом мученике и пророке Украины-Руси», столь же благосклонно читали его стихи, оплакивавшие Палиев, Гамалиев и казачью волю, но не знал еще всех его «творей». Когда же из Праги пришло полное их собрание, разыгрался настоящий скандал. Омельян Огоновский, профессор Львовского университета, и видный лидер народовства, выступил с шумным протестом. «Заявляю публично, що, если бы я був знав, що в Станиславови устроється вечер в память Шевченко, то бувбим учеником моим таки з кафедры заказав удил в тим брати». В стихах «святого мученика» Огоновский нашел «много такого, що вири й моральности есть шкодливе».

Все брехня: попи й цари.

Или:

..... будем брате
З багряниц онучи драти,
Люльки с кадил закуряти,

«Явленными» печь топити,
Кропилами будем брате
Нову хату вымитати.

Напрасно некоторые пытались уверять, что хотя Шевченко ничего общего с православием и «византий-

ским ханжеством» не имеет, он все-таки человек религиозный, только христианство его, больше, в духе Ламенна. Ни о каком Ламенне униатское духовенство слышать не хотело и ничего кроме вульгарного атеизма в стихах «национального поэта» не усматривало.

Атеизм Тараса Григорьевича замечен был еще в России, где на него составили однажды протокол по поводу богохульства. Максимович сам рассказывал Костомарову, как под Каневым Шевченко держал речь в шинке про Божию Матерь, отрицая непорочное зачатие. Поэма «Мария», написанная, видимо, под влиянием пушкинской «Гаврилиады», подтверждает наличие таких взглядов. Наибольшее же возмущение вызывали стихи о Папе римском:

На апостольском престоле
Чернец годованый сидит.

«Одно еще было отрадой нашою, — писал Огановский, — что у нас не было до сих пор контррелигийных писем в языци руським. Теперь, однако и тии появились, а то вроде поэзий шевченковских».

Но «контррелигийные» стихи были не единственным предметом возмущения. Едва ли не самую большую бурю вызывала поленофобия Шевченко. «Австро-польская победоносцевщина», как характеризовал Драгоманов тамошний национализм, ничего не имела против истребления царей, бояр и вельмож, если они русские, но абсолютно не мирилась с пролитием хоть капли панской крови. Она до тех пор отказывалась признавать Шевченко национальным поэтом, пока все антишляхетские, противопольские его стихи и поэмы, вроде «Гайдамаков», не были замолчаны, удалены с поля зрения простого читателя.

Обществу «Просвіта», главному виновнику пражского издания, понадобилось много усилий, чтобы замять дело, изъять из продажи второй (наиболее одиоз-

ный) том «Кобзаря», дать соответствующие гарантии, и таким образом сохранить, кое-как, репутацию «пророка».

Если все подобные инциденты не остановили образования легенды, то дали ясное свидетельство того, что в создании ее меньше всего виновно творчество поэта. Слава Шевченко — одна из самых нелитературных слав. Она создана не читающей публикой и не критикой, а политическим движением — украинским национализмом и дружественной ему русской радикальной интеллигенцией. Истинный же образ поэта нуждается в реставрации.

II

да Бога и трубить сокрушительнее архангелов, но за одну его трубу во вступлении к третьей картине «Лоэнгрина» можно отдать всего сладчайшего Глюка. Ленотр — Глюк садового искусства — немыслим в Аранжуэце. Адажио его широких террас, анданте прудов и бассейнов, аллегро лестниц и пиччикато мелких аллей, фонтанов и статуй — меркнут перед полетом валькирий, гремящим в лиственных вершинах Аранжуэца. И вот, в самой гуще циклопического сада, то ли водяные, то ли лешие, приподнимают на головах чашу из воды, над которой согнулся белый Нарцисс. Перенесите этот фонтан на площадь и сразу посредственность его фигур станет очевидной. Но мастер, видимо, и не гнался за скульптурным совершенством. Свои расчеты он связал с глушью и безлюдьем места. Нигде грех самолюбования не сближен так с тайным пороком, как здесь, посреди лесной чащи. Будь у владельцев Аранжуэца больше артистизма, они оставили бы «Нарцисса» единственным украшением сада и не допустили бы сооружения ни «фонтана Аполлона» с его полукруглой колоннадой, ни «Храма Любви», ни Китайского киоска. Не построили бы и испанского Трианона, именуемого „Casa del Labrador“, осмотр которого, после прогулки по «Принцеву саду», — действует как жиденъкий иоганнисбергер после бутылки великолепного шампанского.

Да, в Испании немало образов и звучаний созданных не столько искусством, сколько почвой, воздухом, солнцем и духом народа. Они так же велики и так же волнуют, как картины Веласкеза и Эль Греко.

1953—1969.

СОДЕРЖАНИЕ

I

Мистицизм Чехова	5
На гоголевские темы	22
Застигнутый ночью	34
О Ремизове	48
Хабенная мудрость	54
Национализм Толстого	58
Шевченко легендарный	82

II

Комплекс Филофея	95
----------------------------	----

III

Мертвые слова	123
Наполеон	131

IV

Орвието	141
Мертвые города	152
Восставшие из мертвых	159

V

Педро Иванович	169
Алжезираас	188
Севилья	196
Гренада	205
Толедо	215
Эскуриал-Аранжуэц	228